

Зинаида
Шаховская



**ББК 84Р-4
Ш32**

**Редакционно-издательский центр
«ГЛАГОЛ»**

**Ш 4703010100—052 КБ-12-38-90
002(01)—91**

ISBN 5-212-00448-9

© З. А. Шаховская, 1979

РЕМИЗОВЫ

В 1924 году, восемнадцатилетней, я отправилась в Париж учиться в протестантской Школе социальной работы, 139, бульвар Монпарнас (Монпарнас был тогда еще центром международной богемы), жадная до всего, что открывалось мне в моей новой независимости, которой сопутствовала, конечно, эмигрантская бедность.

Мой брат Димитрий, бывший в то время редактором «Благонамеренного» в Брюсселе, вероятно, желая привязать меня к русской литературе, сказал мне перед отъездом, что я буду его представительницей в Париже, и дал мне адреса русских писателей, с которыми находился в связи.

Первый мой визит был к Ремизову. Я была в те времена невероятно застенчива со старшими, а писатели для такого книголюба, как я, казались совершенно необыкновенными созданиями, один их вид ввергал меня, разговорчивую со сверстниками, в самое камённое молчание. К тому же я еще не освободилась от тяжелого заиканья, внезапно возникшего у меня в детстве в Константинополе.

Ремизовы жили на 120-бис, авеню Моцарт. Мы письменно сговорились о свидании — и вот, когда, замирая, я нажала на кнопку звонка в не очень скоро открывшуюся мне

² Н. Полежаева во время оккупации сотрудничала с немцами и была ими же расстреляна за взяточничество.

дверь, показался маленький человечек, как-то особенно шуршащий ногами, сгорбленный и очкастый, со смешными, колдунскими вихорками, словно рожками, по обеим сторонам головы. Внимательно меня оглядывая и некрепко пожимая мне руку, он протянул необычным для меня говорком и очень тихо: «Так вот, значит, вы сестра Димитрия Алексеевича» — и повел меня из маленькой передней в небольшую комнату. В ней не было светло, лампочка была мало-сильной, посреди стоял стол, не для работы, а для чая, а на веревочках, протянутых от стены к стене, висели всякие необычные предметы. Рыбья кость, висевшая рядом с мохнатым чертиком, меня особенно поразила, но еще больше поразили сам хозяин, его облик, его говор, хитрые его, как бы ощупывающие глаза, рассматривающие меня через большие круглые стекла очков, и ласковая, но не без лукавства, улыбочка.

Навстречу нам поднялся молодой человек. Ремизов нас познакомил: «Вот Владимир Диксон, поэт, а это сестра «Благонамеренного». Ну, а пока вы знакомитесь, я посмотрю, что Серафима Павловна делает» — и исчез.

Владимир Диксон, американец, родившийся в России, как я узнала потом, был необычайно красив, и, что смутило меня еще больше, он был прекрасно одет, а я — во что добрые люди послали. Но несмотря на некоторую разницу наших лет и абсолютную разницу нашего материального состояния, Диксон, видимо, был не менее застенчив, чем я, и мы мирно сидели на наших стульях, безгласные, не глядя друг на друга, слушая, как хрипят часы с кукушкой, висящие на стене. Я к тому же как-то неприятно чувствовала, что кто-то за неплотно прикрытой дверью наблюдает за нашей неловкостью: как они там, мол, разбираются!

Но вот дверь эта открылась и показался Ремизов, все с той же улыбочкой, колеблющейся между жалостливостью и издевкой. «Ну что, познакомились?»

На столе появились чайные чашки, печенье, сушки, крендельки... Я все рассматривала непонятные предметы, маячащие перед глазами, и совсем это мне не нравилось, «ведь взрослый человек, писатель, а это нарочно».

И вот всплыла Серафима Павловна, крупная и рыхлая, с голубыми, под цвет глаз, бусами на шее, поблескивая сизовато-розовыми щеками. В ней была странная смесь необыкновенной важности и провинциальной жеманности, и, увидав ее впервые, я вспомнила образ кустодиевской купчихи, хоть сразу и услышала, что фамилия Задора-Довгелло знатная, литовская, а по матери С. П. была гетманской кро-

ви. Чай отвлек меня от смущения, и я продолжала быть безгласной слушательницей непонятного мне разговора между Ремизовым и Диксоном. Книг Ремизова я не читала еще, о русской палеографии, которую преподавала в Сорбонне Серафима Павловна, не имела представления и была подавлена умом и начитанностью присутствующих — вдруг из юношеского увлечения Серебряным веком оказалась в обществе протопопа Аввакума и героев кельтских легенд, которыми увлекался Диксон.

Уходя, я была не очарована, но зачарована ремизовским миром. Был ли он чудак или только притворялся чудаком, чтобы легче было выделиться или защититься, — не в мои годы можно было об этом судить, но что привлекало меня в Ремизове, было сильнее того, что меня отвращало. К Серафиме Павловне интереса я не почувствовала, хотя в какой-то мере первой персоной ремизовского мира была все же она.

Я несколько раз посещала еще Ремизовых в этот 1925 год. Иногда, несмотря на заранее уговоренное свидание, дверь мне не открывали, хотя я явственно слышала, как кто-то за вею стоит и дышит, вероятно, лукаво улыбаясь моему напрасному ожиданию.

Марина Цветаева говорила мне, что и ходить к Ремизову из-за этого перестала. «Пригласит, я никуда не хожу, а тут выйду. Еду из Ванв. Прихожу, звоню и слышу Ремизова и говорю ему: перестаньте, Алексей Михайлович, притворяться, я все равно слышу. А он двери не открывает...»

Встречала я у Ремизова П. П. Сувчинского с его первой женой, В. Гучковой, — тогда говорилось о музыке, — и внимательно-вежливого К. Мочульского, и Михаила Осоргина, который, будучи в моих глазах обыкновенным человеком, меня несколько не смущал, а иногда и несчастного, задыхающегося от туберкулеза Леонида Добронравова. Добронравов наконец попал в больницу, и сразу же Алексей Михайлович, скорбно сообщив мне об этом, послал меня навестить человека, которого я совсем не знала и которого как будто он сам не так уж ценил, так как всегда над ним подтрунивал. Добронравов умирал в общей палате. Он не узнал меня, конечно, мои тощие цветы выскользнули из его рук. Он так и не понял, кто я такая, а до приветия Ремизова ему уже не было дела.

Очень характерна для Ремизова следующая история, случившаяся в 25—26-м году: брат, приехав в Париж для своих издательских дел, потерял или у него украли, точную сумму не помню и пишу предположительно, скажем, четыреста

франков, о чем при свидании Ремизову и рассказал (для брата сумма была значительной). Слух об этой краже или потере Ремизов распространил по-своему, очень метко и оригинально. Мочульскому сказал, что сорок франков, Сувчинскому — что четыре тысячи, и, когда брат спросил его о причине таких разных версий, Алексей Михайлович объяснил: «Для вас четыреста франков — много, Мочульский такой баснословной суммы и представить себе не может, а Сувчинскому, ему четыреста ничто, а четыре тысячи — понятно уже».

Вообще на мистификацию у Ремизова был прямо гений. Когда начал издаваться «Благонамеренный», в «Последних новостях» появилась заметка: «В «Благонамеренном» начнет печататься роман Федора Степуна „Эолова Арфа“», что вызвало, конечно, немалое впечатление и немалое удивление. Эта фантастическая новость была измышлением Алексея Михайловича, «чтобы вызвать интерес» к «Благонамеренному».

Человек Ремизов был чрезвычайно проницательный, предельно зоркий, даже как будто не без дара ясновиденья, как я убедилась на опыте. В мае 1926 года я пришла к Ремизовым с Святославом Малевским-Малевичем, с которым только что познакомилась. Он был тогда студентом Сорбонны (Виттиморовской стипендии) и молодым евразийцем, а евразийцы в ту пору помогали Ремизову. Влюблены мы не были, но, когда прощались, Алексей Михайлович, взяв с блюдечка две сушки и скрестив руки, передал по одной Святославу и мне: «А это вам кольца», что повергло нас в немалое смущенье.

И все же случилось так, что 21 ноября 1926 года, в Сергиевском Подворье, о. Сергей Булгаков обвенчал Святослава и меня на долгую супружескую жизнь, и среди приглашенных были и Ремизовы. К свадьбе Ремизов произвел нас в кавалеры «великой и вольной обезьяньей палаты», начертя грамоту на первой странице моего альбома.

С нансеновским паспортом моему мужу, химику, ученику Нильса Бора, делать в Европе было нечего. У инженеров была безработица вследствие очередного мирового кризиса, и в 1927 году мы уехали в Экваториальную Африку, тогда страну еще дикую, Линдберг только что перелетел через океан, почта шла морем к нам 17 дней. Туда от А. М. получали открытки — Ремизов интересовался конголезскими марками.

Снова повстречалась я с Ремизовыми уже в тридцатых годах: живя в Брюсселе, я «приписалась» к парижскому

Союзу молодых писателей и поэтов и в каждый мой приезд — или почти — в Париж посещала Ремизовых. Переезжали они часто. В 32-м году жили в Булони-на-Сене, 3-бис, авеню Ж. В. Клеман, затем — 11, бульвар Порт-Руаяль и снова в 16-м. Редко приходила к ним одна, чаще с одним из моих приятелей — Юрием Софиевым, Иваном Шкотт (Болдыревым), Алексеем Эйснером, Борисом Очерединым, Анатолием Алферовым. Покинув их, мы частенько обменивались в каком-нибудь бистро нашими впечатлениями об этой удивительной, ни на кого не похожей чете.

В эти годы я уже могла оценить и книги Ремизова, и его разговоры, и его замечательное чтение, которым он нас, впрочем, не баловал. Но когда читал — не только Замоскворечье, но вся Россия вставала передо мною, не Россия даже, а Русь. Я уже от своего заиканья кое-как освободилась, кое-чему научилась и чувствовала себя с писателями старшего поколения свободнее. Все же с Ремизовым никогда не было у меня таких простых и естественных отношений, как с Буниным. И хоть я и старалась освободиться от в некотором роде былинного языка, когда с ним говорила, все же речь моя по мимикрии принимала какой-то особый стиль, что меня самое очень сердило.

Да, удивительная была эта пара, начиная уже с физического облика мужа и жены. Маленький, сгорбленный колдунчик Алексей Михайлович и обширная, вальяжная, важная Серафима Павловна. Кто-то придумал сравнение: изюминка и кулич.

Очень странно — о прошлой жизни своей в России, о своей молодости Ремизовы нам никогда не рассказывали. Одно было ясно — она властвует, он обожает. Ходили слухи об их браке, проверить их теперь трудно, будто бы оба, посланные царским правительством чуть ли не в Вятку, где молодые революционеры жили коммуной, встретились там. Серафима Павловна была тогда русской могучей красавицей, бело-розовой, полной, голубоглазой и царственной. Окруженная поклонниками, она на вихрастого заморыша Ремизова не только не смотрела, но даже чувствовала к нему антипатию. Случилось, что у кого-то из коммуны украли часы. Серафима Павловна сразу решила: «Это Ремизов! — одиночка». Ремизову объявили бойкот, а затем истинный вор был обнаружен, и тогда будто бы в порыве чисто русском Серафима Павловна предложила в виде репарации неправедно обиженному Ремизову стать его женой.

Была у них дочка, но и о дочке у Ремизовых тоже никогда не говорилось. Знали только, что она осталась в России, что

никогда не жила с родителями, как будто не так по бедности, как оттого, что Серафима Павловна хотела быть первой и единственной любовью Ремизова. Она и была его единственной, и если Ремизов кого-то по-настоящему любил, то, конечно, ее. Огорчалась ли она или заболела, будь то хоть насморком, Ремизов был потерян и убит. В квартире наступала трагическая окаменелость. Приходящие должны были говорить шепотом. Софиев рассказывал мне, что раз, чтобы повеселить простуженную и лежащую в постели Серафиму Павловну, Ремизов, в ожидании вызванного доктора, протянул веревочку поперек коридора, ведущего в спальню. Доктор споткнулся и полетел. Видя это через открытую дверь, большая залилась смехом, обрадовав Алексея Михайловича.

Много было детского в шутках, да и в драмах Ремизовых. Тот же Софиев, как-то зайдя, был встречен удрученным Алексеем Михайловичем: «Тише, тише, у нас большое огорчение». В кухне плакала Серафима Павловна. «Да что же случилось?» — спросил Софиев. Оказывается, не вышел номер билета в тираж национальной лотереи. Да и билета Ремизовы не покупали, просто в одном из купленных ими пакетов кофе была приложена премия — купон на 1/10 билета, в виде рекламы, как это тогда практиковалось.

Сколько лет было Ремизову в 32-м году? Всего 55, но он казался древнее всех, и Бунина, и Зайцева. И при кажущейся беспомощности он лучше своих братьев умел использовать знакомых, разжалобить своей незащищенностью, уверить всех, что в жизненных делах он ничего не смыслит, — и, в сущности, ему помогали, до конца его жизни, больше, чем кому бы то ни было. А. М. возлагал ответственность за свое существование на других. Один бегал по его делам в префектуру, другой искал ему покровителей, а сколько верных женских душ преданно окружали и служили ему до конца, невзирая на его шуточки над ними, не всегда добродушные... Благодарность была как будто Ремизову в тягость, он был похож в этом на Леона Блуа, «неблагодарного нищего». Я рекомендовала его моей приятельнице, графине де Панж, урожденной княжне де Брой, сестре нобелевских лауреатов по ядерной физике. Полина де Панж была женщина очень бережливая, но в неденежной поддержке ни французской, ни иностранной интеллигенции никогда не отказывающая, и рекомендации ее значили много. С ее помощью Ремизов попал к Галлимару и в «Нуфель ревю франсез», но всегда мне жаловался, что она для него ничего не делает.

У Галлимара по крайней мере четыре человека — все

имеющие вес в этом издательстве — заинтересовались оригинальностью Ремизова, причисленного ими, несколько произвольно, к сюрреалистам. Грейтхейзен, Жан Полан и Марсель Арлан, и Брис-Парэн. Тут надо хоть двух из них обрисовать — как главных судей авторов этого издательства.

Жан Полан, окончивший Школу восточных языков (мальгашский), был Eminence Grise * НРФ, куда он впервые вошел в 1920 году, впоследствии став ее редактором. В сущности, вершителем судеб этого блестящего журнала был творческий импотент, умный пустозвон. Собственная его литературная продукция, чрезвычайно скромная, не имела влияния — зато сам Полан как личность имел влияние огромное. Мистификатор, любитель «черной литературы» и парадокса — не идеи его привлекали, а замысловатость. В главной его книге — 164 страницы — «Les fleurs de Tarbes» ** отражается довольно ярко его литературное кредо: «Если бы я был устрицей, то не выращивал бы свой жемчуг». Полан создавал и губил репутацию, приговаривал к непечатанью всё, что было ясно написано и приятно для чтения. Сам он всё читал, всё знал, — но как бы мстя за свое собственное творческое бессилие, Полан кормил литературных и художественных снобов пищей, им навязываемой.

Совсем другим был Марсель Арлан, вторая голова двуглавой диктатуры, держащей в своей власти литераторов галлимаровской «конюшни». Вместе с Поланом Арлан после войны вытащил из чистилища стертую за грех оккупационного существования НРФ. Арлан был упорной крестьянской жилы и маниакальной честности и писал книги понятные, о простых событиях и людях, но стилем, как отметил Пьер де Буадефр, «беспокойным».

Два этих разных человека и заинтересовались Ремизовым. Арлан, вероятно, человеческой драмой, чувствуемой им в ремизовском творчестве, а Полан — изгибами стиля и таинственностью ремизовского искусства. Первое знакомство Ремизова с НРФ состоялось в тридцатых годах.

До войны 1940 года, кажется, только трое русских писателей-эмигрантов были авторами Галлимара: Ремизов, Замятин и Вл. Сирин (который, несомненно, наиболее подходил этому издательству) и еще — после получения Но-

* Серый кардинал (фр.).

** Цветы Тарба (фр.).

белевской премии — Иван Бунин (который ему наименее подходил).

Кроме НРФ, и другие почетно передовые «пес plus ultra» * журналы, как «Мезюр» Барбары и Генри Черча, заинтересовались ремизовским «лица необщим выраженьем» — что делает им честь, — но России-то не было! А Ремизовы оба служили русскому слову прежде всего. «Слово! — верую и исповедую, люблю и тружусь», — писал Ремизов и в «Розовом блеске», «книге поминовенья» Серафимы Павловны; он называет себя ее учеником: «Она выбрала себе церковно-славянскую высокую книжную речь... а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечьем». Несмотря на то, что «коммерческого» успеха книги Ремизова не имели у французских читателей, Галлимар издавал их и после войны.

Не знаю, как расходились русские его книги — вряд ли были они ходким товаром и у читателей-эмигрантов, — но вечера Ремизова собирали всегда очень много народа. Когда он читал, все становилось понятным и близким — не только гоголевские «Вий» и «Страшная месть», принимающие в чтении А. М. особый размер, но и повести и сказки самого Ремизова. Он, в сущности, писал вяканьем — разговорным, хоть и архаическим языком, с примесью, конечно, художественного модернизма. А дьявольщина, и не только она, но и человеческое грязцо — он уговаривал меня прочесть вдумчиво «Зимний день» Лескова — были то, что Ремизов не хуже понимал, чем раны бедности и страданья.

Мои друзья и я ценили в Ремизове его талант, но как человек он у нас восторга не вызывал. Нам казалось, что писатель, с такой силой писавший о доброте, об обиженных и оскорбленных, видел их только как абстракцию, что писал он о своей доле и о своих испытаниях и, всю любовь отдав С. П., а всю жалость обратив на себя, не оставил и крупинки той или другой для ближних.

И чем беззащитнее и преданнее был ему человек, тем больше А. М. над ним издевался, — а тех, кто отказывался быть его жертвой, боялся и с ними считался. Так, кто-то из «известных», сказав ему строго: «И помните, чтобы я не появлялся в смешном виде в ваших снах!» — никогда в них действительно не появлялся, чем, впрочем, и не вошел для потомства в ремизовский эпос.

Мы не могли не замечать, как охотно, но и как ехидно, и зачастую со скатологическими подробностями, А. М. гово-

* До крайних пределов (лат.).

рил о своих знаменитых современниках, и всегда с усмешечкой: «Вот идет Василий Васильевич (Розанов) в ватер-клозет, а мы за ним гуськом, а он нам о чем-нибудь половом говорит, дверь не закроешь, заслушаться можно! Мы слушаем, а он там бумажкой шелестит, мнет ее».

Не могла не замечать, и как иной раз угодливо говорит А. М. с каким-нибудь могущим ему пригодиться посетителем или посетительницей, и как, едва гость уйдет, такого о нем расскажет, что уши вянут! Я была очень дружна с Иваном Шкоттом, и мы часто приходили к Ремизовым вместе. Шкотт был глубоко несчастный и очень мужественный человек и к Ремизову-писателю питал самое глубокое уважение, считал себя его учеником. Но, зная мою дружбу со Шкоттом, если я приходила одна, А. М. всегда сочинял про него какие-то фантастические гадости: «Бедный Иван Андреевич, гложет ведь? Да, бедняга, заболел венерической болезнью, захватил там, в Сибири, а вот теперь мучается!» А когда Шкотт покончил с собою, Ремизов написал о нем проникновенный некролог. Прочтя его внимательно, все же видно, что и в чужой смерти, и в чужой бедности оплакивал Ремизов свою судьбу и ее тяжесть.

Вот эти-то особенности Ремизова как человека, не скрою, и отдалили меня от него. Я перестала его видеть, кажется, в 1936 году. Вернувшись в Париж в 1949 году, я тоже не пошла к нему. Но перед 80-летием Ремизова, в 1956 году, друг эмигрантских писателей, Софья Прегель, сказала мне, что он несчастен, ослеп, и что хорошо было бы его утешить юбилейным и лучше французским чествованием, и что хорошо, в виду состояния его здоровья дело это не откладывать.

Я зашла к Ремизову, он, видимо, проектом Софьи Юльевны был очень обрадован. Несмотря на преданную заботу верных ему друзей — и помощь, ими оказываемую, — он, конечно, был очень жалок и одинок без Серафимы Павловны.

«Как живете, А. М.?» — «Плохо, вот читать не могу. Читают мне, может быть, и вы почитаете?» Не помню, какую он дал мне книгу. Мое, конечно, далеко не художественное чтение несколько его раздражало, он справедливо меня поправлял и поругивал, потом жаловался: «Конечно, голодать не голодаю, а вот скучно кормят, хотелось бы чего повкуснее. Я вот семгу люблю». На следующий раз я принесла ему семги, съел, промолвив: «Вкусно, да так мало!»

Дело с устройством чествования было нелегкое, мало кто из французских писателей слышал о Ремизове, а те, что

слышали, уже забыли его. Я отправилась к моему другу Анри Мембре, генеральному секретарю французского ПЕН-клуба, объяснила ему, что заслуги Ремизова перед литературой немалы, что он настоящий писатель и даже печатался в НРФ и что расходы по приему будут покрыты его русскими поклонниками. На том и договорились. «Но кто будет его приветствовать от имени ПЕН-клуба? Я не вижу никого», — заметил Мембре. «Не беспокойтесь, я попрошу Марселя Арлана». Марсель Арлан, правда, без энтузиазма, согласился произнести приветственную речь. Были уже заказаны и приглашения, когда я получила от А. М. письмо — он от юбилея отказывался.

* * *

Из моей записной книжки за тридцатые годы выбираю, что записывала под горячую руку о Ремизовых:

Чай Ремизов разливал сам, и так, как будто свершал какой-то обряд. Был там Сувчинский, Мочульский, художник Сергей Шаршун, издававший вместо книг листовки «Накинув плащ». Это был рассвет и первый закат ЕА * с авантюрой «Верст». Издавался еще «Ухват». У Сувчинского были деньги, А. М. сажал его на почетное место. Раз Ремизов попросил меня достать у капитана 2-го ранга, бывшего командира «Алмаза» и моего свойственника, грамоту, выданную предку его царем Алексеем Михайловичем, которую Чириков смог сохранить. Я ему достала, и А. М. долго с ней возился, рассматривал не так даже содержание, как слова и выражения 17-го века и начертание букв.

Ремизов и особенно Серафима Павловна очень внимательно следили за отношениями их гостей между собою. Они их ссорили или мирили, намекали на возможность каких-то романтических отношений, чаще всего выдумывая их. Мне: «А вот вас Шаршун проводит, кхе! кхе! Он у нас известный Дон Жуан». Шаршун что-то шепеляво и неразборчиво бормочет, отнекиваясь и от донжуанства, и от провожания.

Раз я с Ремизовыми и с мужем пошла на какое-то очередное собрание, имевшее место на рю Данфер-Рошро. Лекция Д. Святополк-Мирского о культе смерти в русской литературе; позднее появилась его статья на эту тему, но уже без некоторых вводных фраз. Рядом с лектором, на подиуме, Сувчинский. Я мало знала Мирского, взгляд его казался мне издавающимся, а голос «носатым», и он меня отпугивал чем-

* Евразийцы — влиятельное идеологическое течение в русской эмиграции. Издавали книги, журналы, еженедельники.

то. Говорил отменно умно, в одном месте подчеркнув, «как сказал выдающийся русский писатель Кундышин». Вышли мы на улицу группой. Я при входе еще купила очередной номер недолговечного «Ухвата», в котором сотрудничали Ремизов, Дон Аминадо, Тэффи, Д. Кобяков и другие, и шла тихо, не смея открыть рта в присутствии таких светил. Мирский принимал похвалы. В. Н. Ильин вздымался и падал в метафизические дебри. Наконец, кто-то в замешательстве спросил, с редким для него смущением: «Прости, Дима, я что-то не могу вспомнить, кто был Кундышин». Святополк-Мирский важно: «Совсем не был, я его выдумал».

Встречала я у Ремизова и интереснейшего философа, Петра Стремоухова. Из женщин помню барышень, по прозвищу, данному им Ремизовым, «Птицы», бескорыстно пекущихся о Ремизовых, которые, видимо, благодарности к ним не чувствовали. В их присутствии жаловались и плакались, когда их не было — издевались над ними очень ядовито. Я даже раз не выдержала и сказала: «Ну вот теперь я знаю, как вы говорите обо мне, когда меня нет». — «Ну что вы, что вы, вы совсем другое дело!» — успокаивал меня А. М.

Когда Ремизовы жили в Булони, дорога к ним шла вдоль Булонского леса, и всегда меня провожал кто-нибудь из приятелей. Но Ремизовы очень не любили, когда дружбы заводились не по их почину. Таковую дружбу они старались расстроить и редко приглашали вместе людей, которым было бы приятно у них встретиться. Помнится, что в Булони из кабинета А. М. уже была изгнана всякая «чертовщина», так, немного осталось уже, но все, особенно впервые приходящие, по старой памяти таскали хозяевам каким-то дикие дары, фетиши, которые бесследно исчезали. В тридцатых годах Ремизов увлекался рисунками, чрезвычайно интересно сделанными. Я помню «Толстого в аду», который был поистине ужасен, и иллюстрации к «Снам» Тургенева — охотник с ружьем, а вместо зайцев и дичи — голые ребятишки.

Страсть к мистификации была так сильна у А. М., что я все время была настороже, как бы не попасться впросак и не поверить провокационному рассказу. Такие вещи жестоко разглашались. Алексей Эйсер был одним из редких людей, не попадавших на провокации А. М., и с твердостью избегал всякой утилизации. А так чужие люди перевозили книги, бегали за карт д'идентите *, чинили мебель, мыли посуду, вывозили Ремизовых на балы писателей и на лекции, устраивали продажу книг и рисунков — кто во что горазд...

* Удостоверение личности (фр.).

Если я ничего не привозила из Брюсселя, А. М. упрекал меня: «А вот вы пряничка-то забыли привезти. Они у вас в Брюсселе вкусные, и папиросы дешевые». Все знают, что уже в Москве Ремизов одевался как-то особенно, подчеркивая свою убогость. И к графине де Панж он пошел, старательно приодевшись так, чтобы «кричала бедность», его вид графиню прямо поразил.

Три дня спустя после убийства Горгуловым президента Думерга я была у Ремизовых. Алексей Михайлович рассказывал, как в этот день у него болели зубы и как, завязавшись, пошел он в зубную клинику, а когда шел обратно, все уже кричали на улицах, что русский убил президента. «Господи — думаю — что же это такое начнется. А вдруг догадуются, что я русский... и бить». В этот день говорилось о приезде Ремизовых в Бельгию, куда их пригласил погостить поэт и переводчик русских поэтов, Роберт Вивье, женатый на русской татарке Зените, сын которой от первого брака стал впоследствии известнейшим в мире вулкановедом — Гарун Тазиев.

«Зинаида Алексеевна, вы уж помогите, чтобы паспорт мне выдали. Я ведь по-французски не говорю — а они не понимают».

Был там и Эйснер, и возвращалась я в этот вечер с ним. Он сердился: «Ну что вы ему верите! Ему паспорт скорее выдадут, чем нам с вами, и наверное он чудесно изъясняется по-французски. Это просто у него система: зачем самому работать, когда можно найти дураков». — «Спасибо». — «Не за что, я ведь о вас думаю».

Я думаю, что Ремизов был чрезвычайно умный человек, но вот этот изъян, не изжитое уязвление детства стали ему развлечением, его мезью. Унижение его было паче гордости, но знал, кого можно в открытую третировать, а кого — тайком. Кому и покадит, сейчас же уже выдумает, как его впоследствии и высмеять, и чем беззащитнее и преданнее был ему человек — а сколько таких вокруг него бывало, — то над таким издевка была первым делом.

Пока я писала вот эти мои воспоминания о Ремизове, мне вдруг как-то открылось, что то, что делало его совершенно отличным от других русских писателей, с которыми мне пришлось встретиться, — это что Ремизов в сущности был единственным из них, который мог бы быть персонажем Достоевского, одним из униженных и оскорбленных, с его горделивым принижением и духовным изломом. В нем уживались подлинная трагедия и шутовство, жалость к человеку и издевка над ним. Он был человеком подполья.

«Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мученическая, непрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в непрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха — всех умнее, всех развитее, всех благороднее, — это уж само собою, — но непрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная» (Записки из подполья).

Уступчивость же А. М. только видимая. «Что от меня зависит на земле? — пишет Ремизов в «Мышкиной дудочке». — Ничего. А стало быть, никакой власти. Моя воля со мной».

Думается, что найдется множество совпадений между словами героев Достоевского и словами-признаниями Ремизова.

Беру еще одно для примера: «А что ж? и в зубной боли есть наслаждение, — отвечу я. — У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то столах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения — он бы и стонать не стал» (Записки из подполья).

А Ремизов в «М. Д.»: «А загнанный я чувствовал себя на месте, и это мое чувство пронизывалось болью. Я понял, что только загнанный я и живу, и для меня стало «жить» и «боль» одно и то же. И когда не было боли, я как бы не жил на свете».

И вот так, перед всеми унижаясь и презирая тех, перед которыми он унижался, находил свою свободу Ремизов, в сущности, самый загадочный из писателей, которых довелось мне увидеть. «Страдание — да ведь это единственная причина сознания», — утверждает человек из подполья; и дальше: «...сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения». Сила Ремизова была в сознании и прятии страдания.

ПИСЬМА А. М. И С. П. РЕМИЗОВЫХ

(Из Парижа в Бельг. Конго)

(На почт. штемпеле: 9/12—1926, получ. 5/3—27)

Дорогие Зинаида Алексеевна и Святослав Святославович, не потому, чтобы не ответить немедленно, а потому, что адрес написан — ничего не поймешь.

У меня от Вас теперь две марки (30 см. и 1 фр.), если есть в 20, наклейте.

Переехали на другую квартиру, очень было трудно, да и теперь не легко.

Пишите! Серафима Павловна кланяется вам обоим.

А. Ремизов

26/4—32

Дорогая Зинаида Алексеевна,

мне говорил Очередин, что Вы будете в Париже в начале мая. Хочу попросить Вас, привезите мои «картинки». В мае выставка чешских-рус. писателей в Праге и хотел бы кое-какие из тех, что у Вас, послать на выставку. Жаль, что со Слонима не сделан фотограф. снимок.

А. Ремизов

21/10—32

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Спасибо: 25 фр. получил. Я был очень болен и только теперь понемногу прихожу в себя, т. е. могу думать не только о своей боли.

С. de Range¹ мне ответила, я ходил по ее письму, но пока результата еще никакого нет. Написал и послал книги В. С. Нарышкиной², это еще летом, но ответа никакого.

О вечере в «К. Р. Е.»³ боюсь сейчас говорить. И прежде всего надо знать их условия. Иначе как же и с чем сообразо-

¹ Графиня де Панж, правнучка Мадам де Сталь, сестра нобелевских лауреатов по ядерной физике, герцога и князя де Брой.

² Дочь министра Витте.

³ Клуб русских евреев.

ваться. Спрашивал Осоргина: он получил 700 фр., т. е. 1/2 сбора. Забыл спросить: *о дороге и гостинице (для меня)*. (Для поездки надо возобновить паспорт, и один я не могу ехать, только с Серафимой Павловной).

Узнайте и напишите мне.

А приехать могли бы в ноябре, только не 13-го.

Вечер лучше всего делать в субботу.

А. Ремизов

Кланяйтесь Святославу Святославовичу. Поклон от Серафимы Павловны.

Адрес Кнута: Monsieur Eberlin pour Д. К. (Довид Миронович) 12, square du Port Royal, Paris 13°.

18/5—1933

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Надеются отходить⁴. (Лежит в госпитале Кошан.) Что была за ночь, еще не знаем. Не мытьем, так катаньем, но это наша общая участь. Нет денег. В этом все. Собираются большие деньги для несуществующих организаций — «жертва» для самоутешения, я в эту «помощь» не верю, только индивидуальная может действительно «поддержать». А для этого надо смотреть, слушать и слышать. Говорю это по опыту: что бы ни говорили, ничем не поможешь. Так и с Болдыревым. А ведь какие пропускаются деньги на благотворительность!

С Comtesse de Ränge я познакомился. Она деятельная, только у нее очень мало возможностей. А Нарышкиной я прошлым летом написал и книгу ей отправил — и никакого ответа. Нет ли у Вас еще кого, куда сунуться?

Если поправится, надо ему отдохнуть. Ведь он как не выспавшийся. Хотя бы ему к вам, в Бельгию, проехать. Все рассуждаю сам с собою: как человеку можно много помочь и дать силы самое тяжелое вынести. Но без денег ничего нельзя сделать.

А. Ремизов

Поклон от Серафимы Павловны.

29 мая 1933 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна, вчера похоронили Ивана Андреевича. Отпевал его о. Флоровский очень хорошо, так

⁴ Ивана Андреевича Шкотта (Болдырева), покончившего жизнь самоубийством.

что терялось и то, что только 2 человека пело. Вчера начали и кончили его отпевание пением «Христос Воскресе», — и это напоминало; что смерти нет. Потом отвезли его на кладбище Thiais, где и похоронили. Был ясный день и небо голубое. Народу было немного, в церкви человек 30 и на кладбище — 10, кладбище очень далеко. Но цветов было много. О письмах, оставшихся после него, я выясню через несколько дней (много путаницы из-за того, что никаких родственников и много формальностей), если будут Ваши письма, будут Вам возвращены. Я думаю подождать писать матери, сначала надо все выяснить, чтобы ее лишний раз не тревожить.

Вы писали, что приедете и придете к нам в воскресенье 11-го. Да, мы будем дома в этот день, но «Воскресенья» отменены уже с сентября по некоторым важным причинам, о которых на словах сказать надо, сейчас трудно писать. Вы у нас в воскресенье никого не встретите, но зато если хотите именно к нам, то так и лучше.

Итак, до свиданья, будем дома в воскресенье 11-го (Троица) с 8 ч.

Всего доброго

С. Ремизова-Довгелло

6 декабря 1939

Дорогая Зинаида Алексеевна, спасибо Вам за память, за присылку книжки⁵, которую я читала во время болезни (простудилась), очень было приятно. Да, 10 лет прошло со дня нашей первой встречи, когда Вы здесь были весной, а к нам не зашли, я подумала: вот и прервано, что-то произошло и, должно быть, кто-то темный прошел между нами, но книжка сказала, что то, что завязалось 10 лет назад, осталось. Когда приедете сюда? Мы бы хотели летом (если доживем) поехать в Бельгию на месяц, — говорят, там дешево. Что Вы думаете об этом? Ал. Мих. кланяется и благодарит. Привет от нас Свят. Свят.

Ваша Ремизова-Довгелло

⁵ Моя книга «Une Enfance», вышедшая в Париже в 1939 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

я думаю, следует отложить до будущего года мое французское «погребение заживо»⁶ — в этом году нет никакого основания, — в будущем 1957 — мне исполнится — 80 лет (Ночь под Ивана Купала 24 июня 1877 года) и 55 лет моего литературного труда (8 сентября 1902 года), и я надеюсь, выход у Галлимара моих Подстриженных Глаз (Les Yeux Tondus), а сейчас, если Вы разогнались, — сделайте вечер Б. К. Зайцеву, ему 75 лет от роду (в этом году) и 55 — литературной деятельности — или помяните Шмелева.

А главное, надо время, чтобы все собрать, а сейчас и месяца не остается — что можно сделать за это время? В июле ничего сделать нельзя — abgeschlossen*.

Зайдите, жду в воскресенье, чтобы Вам устно еще подтвердить мое слово-решение.

Алексей Ремизов

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАД МОГИЛОЙ БОЛДЫРЕВА-ШКОТТА

Когда гроб показался во дворе Монпарнасской церкви — медленно и важно, а этот двор мне, как тюремный в Таганке, я вспомнил — вот точно так же Шкотт вошел к нам на Villa Flore, где мы жили в этом дощатом гробе, как тогда в его очень узком, но опрятном пиджаке, — «глядела бедность».

Последние дни Пасхи — «Христос воскрес», с которого начато и кончено отпевание, и за этим необычным — пасхальным — и при виде черным покрытого и бедными цветами, но цветами! гроба — не чувствовалось смерти. И только там, на дальнем, открытом, как среди пустого поля, Тиэ, когда в одну из узких, рядами заготовленных ям упали первые комья — твердый ком за комом — земля о деревянную крышку гроба, — этот обратный звук вскрику человека, впервые увидевшего свет, — последний безответный из мира, я всем существом моим до дрожи ощутил глухой и непреклонный голос смерти, но и понял, что уж больше не надо

⁶ Прием в ПЕН-клубе, уже подготовленный.

* Окончательно (нем.).

«думать», по крайней мере весь кошмар верональной температуры кончен... а о снах в бестемпературном «смертном сне» я не подумал.

Жизнь Шкотта за эти шесть лет с нашей встречи — круг напряженнейших дум, суровый литературный путь, тяжелая физическая работа и тяжкий недуг.

«А ведь и самому упорному надо какую-то передышку! ну, просто выспаться, переменить место,— тогда и в самом тягчайшем недуге освеженные силы дадут надежду!» Это я сам с собой — не могу помириться, чтобы взять так и кончить бесповоротно.

А какие они — крокморы *! засыпали да не совсем — стоят над незасыпанной: «Лопаты на три осталось, завтрашний день кончим!» И догадываться не надо: дал кто-то пять франков — смотрим, а уж все и готово. Дали еще — и уж крест воткнут, цветы кладут, «Такое их мэтье **», — сказал кто-то. Ну, точно дети.

В память о человеке всегда остается хотя бы и последняя мелочь, но что особенно тронет и станет незабвенным: это тогда, еще в первое знакомство, на Пасху принес Шкотт маленькую ветку сирени, и веткой-то нельзя назвать, а так лапасток какой-то от ветки с белыми звездочками-цветами, ветку, из которой — и я вспомнил, как однажды в Петербурге, тоже на Пасху, прислали нам «добрые люди» корзину с ландышами — «прямо из Ниццы» — и стоила она шестьдесят рублей, как объяснил посланный, а потом уж в Париже я не раз видел такие корзины — удивительные свежие ландыши! — но никогда я не видел и только однажды такую ветку, из которой «глядела бедность», и перед ее болью в вихре моих мыслей и глуби моих чувств осветился стол, комната, Villa Flore, Avenue Mozart — весь Париж. И теперь я все беспокоился о наших последних цветах: ведь крокмору — дело привычное, и не заметит, и не заметишь, сапогом смахнет! — венок от «Технической школы», где последние годы учился Шкотт, к кресту поставили и от креста дорожкой цветы тех, кто в последний раз вспомнил, и вижу, наши — желтые ромашки — память о его материнской родине России, и ландыши.

«В ваших странствиях, Иван Андреевич, дорога привела вас на Villa Flore, в мой мир «по карнизам» и мир «слова», вы ступили на трудный путь «слова», но слово — «слово без денег, будь оно и самым раскаленным, оно бескровно,

* Могильщики (фр.).

** Ремесло (фр.).

ничего!» и что я мог и что могу сделать для устройства литературных дел? — ничего. А моя работа — впрочем, разве я мог удивить вас и самой беспощадной требовательностью? — вы такого крепкого корня: вам напролом и упор — наследственная стихия».

Родословие Шкотта — от «старого Шкотта» Джемса, Якова Яковлевича, память о котором долго хранилась на Москве: «Распахать всю русскую землю усовершенствованными орудиями и научить русских детей английскому языку!» — вот с какой затеей приехал Шкотт в Россию сто лет назад. Сын его Александр был женат на тетке Лескова, и в судьбе Лескова семья Шкоттов имела решающее значение.

Имя Лескова Иван Андреевич слышал с детства, но близости никогда не чувствовал. Не Лесков, а Достоевский, и особенно «Необходимое объяснение» Ипполита из «Идиота» и Кириллов из «Бесов», вот куда обращены были глаза Шкотта.

Умный, а это большая редкость, начитанный, и это не часто, не пустой человек и не легкий — ответственный, и без этой «шутливой беззаботности», хорошо читал и хорошо смеялся... и большой искусник — делал тонкие миниатюры на слоновой кости и решал головоломные задачи, он добился бы своего и стал бы в литературной работе мастер.

Весной 1927 года перед своей поездкой в Нормандию на работу в Коломбеле в первую нашу встречу Шкотт принес сказку в стиле Леонида Андреева, беспредметную, где действуют Электрон, Океан и Голоса. Но в разговоре выяснилось, что у него есть русская память — повесть «Мальчики и девочки», погребена в «Современных записках», а, кроме русской памяти, есть и наблюдения над «живой жизнью» русских в Париже — ряд рассказов: «Пирожки Ивана Степаньча». С этих «пирожков» и началось его литературство под фамилией Болдырев.

На металлургическом заводе, где работа была очень деликатная — «постоянно на сквозняке или иногда приходится под дождем все восемь часов», а после работы в комнате-казарме на четырнадцать человек, Шкотт «настойчиво и упорно» писал «Цветную сумятицу» — его третья тема: «сон и безумие».

«Мальчики и девочки» вышли в 1929 году отдельной книгой в издательстве «Новые писатели» — «Москва».

Но ни «сон», ни «пирожки» не вышли и продолжения не появлялось, — впрочем, где и появиться? А тут еще «требовательность к себе» и «ответственность» — наварзать-то легко и даже очень, Шкотт очень хорошо понимал всю сме-

хотворность и всю жалость звания «искусственного» писателя или славу «киноматографического» мотылька.

С кладбища нас вез товарищ Шкотта дальними путями, но дорога не показалась утомительной: говорили о Шкотте и его судьбе — невеселое решали — и какой это холод и черствость — круг человеческой доли — на глазах погиб человек! — и со словами руки у меня горели. На набережной недалеко от Сен-Мишель автомобиль приостановился — затор — я заглянул в окно: седые, еще седее показались мне камни Нотр-Дам! — и вдруг на узком тротуаре среди локтями пробивающих себе дорогу... и я узнал ее — «глядела бедность» — это моя — неразлучная сестра со всей ее болью, гневом и моим несмирным смирением.

Алексей Ремизов

О ДИКСОНЕ

«Диксон был религиозный — верующий и сознающий всю ответственность своей веры... Я понимаю в медленном искусном письме, а Диксон писал твердо и крупно, и украшая заставками и концовками, слово проникает больше, чем в мысли. Он переписал евангелие от Иоанна и несколько псалмов. Под Пасху, в Рождество и на праздники мы втроем бывали вместе в церкви».

Алексей Ремизов
1.11.1930

(Предисловие к посмертной книге Диксона «Стихи и проза»).

Владимир Диксон родился в Нижегородской губернии в 1900 году. Его отец был американец, приехавший в Россию в 1895, мать — русская, Людмила Биджевская. В. Диксон успел окончить подольское реальное училище в июне 1917 года и с родителями поехал в США, сперва учился в Massachusetts Institut of Technology, затем в Гарварде получил степень магистра.

В 1923 году поступил на завод Зингера во Франции. Умер в американском госпитале Нейи в 1929 году от эмболии.

В последних стихах своих, написанных за 10 дней до смерти, он писал:

Если сегодня в последний раз
Вижу солнце и звезды и сына,

И не обрадует жадных глаз
Родной земли скупая равнина...

.

Что на дорогу могу сказать?

.

Прошу прощенья у оскорбленных
У всех обиженных, раненных мной,
Прошу прощенья у далей зеленых,
У далей снежных земли родной.

Шаховская З. А.

Ш32 В поисках Набокова. Отражения.— М.: Книга, 1991.— 319 с.— 100 000 экз.

ISBN 5-212-00448-9

Почти ровесница века, Зинаида Шаховская, всеми корнями связанная с историей и культурой России, 12-летней девочкой покинула Родину с первой волной эмиграции. Училась в Константинополе, Брюсселе, Париже. Начинала как русский поэт. Известность ей принесли романы, написанные по-французски. Ею написаны семь книг воспоминаний. Две из них мы предлагаем читателю.

Одна — «В поисках Набокова» — полно рисует его жизнь и творчество. В другой — широкая картина русского зарубежья, рассказ о встречах с Бунинным и Ремизовым, Цветаевой и Замятинным, Ходасевичем и Шагалом, Тэффи и многими другими. Свидетельства летописца десятилетий жизни русской культуры за рубежом привлекут внимание самых широких кругов читателей.